

ГЛИНА

Рассказ

Вчера в метро я видел Нину. Выходил из вагона на «Сенной», а она стояла у дверей, пропуская хлынувшую наружу толпу — бледная, без видимых следов косметики, русые волосы заплетены в косу. Такой я ее помнил и такой, владей искусством карандаша, мог бы изобразить. Удивился ли я? Не то слово — я заледенел. Изморозь покрыла мое тело, хрустя на сгибах и ломаясь на ходу. Полевые сезоны на Алтае... Мы вместе копали могильники на плоскогорье Укок — в нашей экспедиции она была штатным художником. Да, у многих были фотокамеры, но по правилам все находки должен был фиксировать художник — таков закон. Нина умерла шесть лет назад. Была навеселе, упала в подъезде на лестнице, перелом основания черепа. А тут стоит на платформе, и серые глаза смотрят мимо... Мимо всего. Я не посмел даже кивнуть.

А на прошлой неделе я мельком встретил на Владимирском Захара. Возле обувного магазина «Форум». Он жил тут неподалеку, на Колокольной, в красивом доме с изразцами. Такой узорный пряник, русский стиль. Мы были знакомы с ним еще детьми — вместе ходили в исторический кружок при Дворце пионеров. Захар умер полтора года назад в Германии. Печень. Или почки. Разное говорили. Тогда решил: показалось. А что еще можно было решить? И вот теперь — Нина...

Я болен — какая-то зараза грызет мой разум. В противном случае придется признать правоту тех, кто утверждает, что единственная достоверность мира — это наши галлюцинации. Но это не так. Иначе мы знали бы о бабочках только то, что иногда им снятся китайские мудрецы. А нам известно совсем другое. И мир трещит, разбрызгивая потроха, в давящие наших знаний, как перламутровка, на которую уронили атлас чешуекрылых.

Да, болен. Еще недавно был крепок и красив, как каслинский чугунок, а тут — нате вам... Теперь все чаще без видимой причины меня одолевает сонливость, и, как следствие, — рассеянность. Иной раз, выходя из дома, не запираю дверь, и, возвращаясь, удивляюсь — открыто. А ведь, казалось, как обычно, проворачивал ключ, и угодливая память выдает фантомное воспоминание — клацанье механизма в замке. Иногда забываю запирать, входя: просыпаюсь — дверь настежь. Станные симптомы. И еще: общество людей — тяготит, одиночество — манит. На телефонные звонки отвечаю через раз. Точнее: через четыре на пятый — так примерно. Возможно, виной всему укус какой-нибудь диковинной мухи. Или неведомый паразит залез в мое нутро иным путем, и — трах-тибидох — самозахват. Я слышал, эти твари умеют ловко управлять хозяином, как опытный погонщик ездовым скотом. Завладевшая мной дрянь заставляет говорить невпопад, мешает следить за чужой мыслью, велит забывать сдачу в магазине...

Сейчас уже не скажешь точно, когда это началось, когда я впервые почувствовал в себе жало недуга. Время слипается в голове в одно вязкое *всегда*, где нет места календарю, временам года, памятным датам и разнице между понедельником и четвергом. Что было раньше — университет или школа? Первая сигарета или утро на хозяйственном дворе зоопарка, где я — школьник, член исторического кружка при Дворце пионеров — с любопытством наблюдал, как в порядке научного опыта три почтенные археологини пытаются разделить каменными палеолитическими орудиями тушу умершего слона? Что было сначала — старик из Костенок рассказывал мне, как зимой в войну блиндажи на передовой утепляли трупами немецких солдат, или самарский удильщик, рисуя былое изобилие Волги, врал, что в прибрежных селах печи топили сушеной рыбой? Я ездил в Алтын-Эмель три месяца назад, в апреле, или это было в тот год, когда мы с Мариной плавали на кораблике по зеленоватому Майну, на гладь которого падали первые желтые листья? И когда от меня ушла Марина — в далекую морозную зиму (в городских подъездах лопались чугунные батареи, разорванные обшившейся в лед водой) или это случилось неделю назад, под пляску тополиного пуха, завитого ветром в пушистые вьюны? Все смешалось в одной круговерти — время, лица, предметы, пространство... Так катаешь в детстве по первому снегу ком для снеговика, и в него залипают прелые листья, песок, трава...

Что-то разладилось в моем королевстве. Нина, Захар и эта глина... Я был как струна, рассекающая мягкий сыр жизни, — теперь запах тлена и ужас небытия мерещатся повсюду. Словно Бог оставил меня. Оставил всех — дал в руки зажигалку, а огонь в сердцах задул. И легкость ушла, и все вокруг как-то сразу стали старыми —

траченными людьми, подержанными телами. И в речах закишели мертвые слова. И живая легенда, глядь, сделалась *полуживой*. Словно мир не соизмерил мечту с собственными силами, и мечта обернулась погибелью, — а из-под обломков мечты редко кто сумеет подняться. Та же история, что с русскими печальниками на пламенных кухнях: мечтали, обличали, возвещали, верили, а вышел срам, потому что вдруг сделалось пронзительно ясно, что мировой заговор, Большая игра, сионские мудрецы — все совокупное коварство мировой закулисы — изрядно преувеличены, поскольку русские и сами прекрасно справляются с делом уничтожения своей державы.

Конечно, дело во мне — человек так устроен, что свой недуг ставит в центр мироздания. Заболит у него ухо или надуется мозоль на пятке, — и кажется ему, что ухо стало огромным, а пятка великой, больше его самого, важнее всех причин, сильнее всякой воли, и весь мир уже и есть это больное ухо, этот ноющий пузырь на пятке...

Такое чувство, будто я иду по жизни, то и дело задевая прямые, с которыми вроде бы мы должны быть параллельны. Мертвое — мертвым, живым — живым — ужимки и прыжки. Вокруг невесомое лето, зеленое северное тепло: забредешь на Елагин — водомерки на глади пруда, в цветке дремлет шмель, жук-кузька, зацепившись коготками лапок сразу за две травинки, растянулся в добровольном распятии... А тут откуда ни возьмись прохожий, еще крепок, а рот беззубый, вялый, и нижняя челюсть гуляет туда-сюда — будь он актер, легко сыграл бы какое-нибудь жвачное животное. Да и сам я теперь... Какой, если взглянуть со стороны? Мелкие сбои в координации, складная речь дается с трудом, внимание скачет с пятого на десятое...

Итак, я болен. Что видит вокруг больной взгляд? Купи, попробуй, вложи, выиграй. Что еще? Убьем паразитов, заморозим бородавки, избавим от страданий. Вчера на улице заметил выцветшую неприглядную вывеску: «Ремонт одежды». Глаз бегло прочитал: «Ремонт надежды». Забавно. Да, ремонт надежды — вот что мне нужно.

В новосибирский аэропорт «Толмачево» прилетели до зари, в несусветную рань. Пока англичане и зиновцы охотились на экспедиционный багаж, ползущий по вьющейся черной тропе, я рассматривал скульптурную композицию в гулком зале ожидания. Серебряный всадник (то ли ордынец, то ли азиатских кровей казак) несся на оскаленного серебряного волка. И тот и другой отчасти были запаяны в хрустальные кубы (не стекло, конечно, — какой-нибудь технологичный пластик), дающие иллюзию излома, а из такого же куба, но расположенного чуть выше, на них взирало травленное лицо равнодушного Будды. Композиция выглядела динамично и вызвала уважительный интерес, хотя замысел скульптора представлялся не столь прозрачным, как использованный им хрустальный материал: при подробном осмотре я насчитал у лошади пять ног, а у волка — пять лап. Как ни странно, уродство не бросалось в глаза, и чтобы обнаружить его, следовало включить внимание. Всадник отчего-то сохранил привычную парность членов.

Нас ждали. Прямо из аэропорта, погрузившись в «газель», «волгу» и китайский внедорожник, покатали по ночной трассе на Карасук, к казахской границе. Биологическая экспедиция в национальный парк Алтын-Эмель. Два зиновца из Петербурга, два англичанина и пятеро новосибирцев — паразитологи, орнитологи, энтомологи, арахнологи. Начальник — сибиряк, спец по двукрылым. Еще два шофера и повариха. За баранкой «китайца» сидел птицевед, двинувший в экспедицию на своем буцефале. Ну и тринадцатый — я, сбоку припека, археолог. Так решили — дескать, пусть будет историк с полевым опытом. Я напросился сам, чтобы уехать и забыть. Забыть похитившую мой покой Марину, прекрасную воровку, походившую и без нужды, как скверный ребенок, укравшую у меня — меня. Да простит мне небо этот маньеризм.

Алтын-Эмель — «золотое седло» — такое имя, по легенде, дал горному хребту прогуливавший здесь свои тумены Чингисхан. Меня интересуют сакские курганы. В Илийской долине их до черта. Сами казахи теперь толком не копают и другим позволять не спешат. А если и копают, то как-то пафосно, с тенденцией. Они записали саков себе в прашуры — так польская шляхта, с целью отделить себя от черни, «песьей крови», назначила некогда своими предками сарматов и нарядилась в свой сарматский стиль — степняцкие усы и кривые сабли. «Золотого человека», Алтын-Адама, откопанного Акишевым еще в шестьдесят девятом, казахи теперь чеканят на медалях: посаженный на крылатого барса, он украшает штандарт президента. Музей на могильнике построили. А саки, как принято считать в профессиональных кругах, были иранских кровей, но кто в таких случаях смотрит на рожу. Смотрят на регистрацию. Понятное дело: нужны длинные корни, чтобы крепить гордое самостояние.Пусти тут кого-то со стороны, могут ведь такое отрыть, что не приведи Аллах, да пребудет над нами его милость. Невозможно допустить. Поэтому еду с биологами контрабандой — посмотреть и прикинуть на перспективу: есть ли где-то интерес для нас, гробокопателей. На какую-то гипотетическую перспективу — кому как не археологам знать о бренности суверенных образований. Равно как и империй, нанизывающих эти образования на шампур.

Апрель. Дорога пуста. В небе медленно гаснет космос. Здесь другой воздух, другая даль, другие цвета, и только грачи — те же. Я думал, тут будет меньше весны — так всегда представляешь, отправляясь в Сибирь, — но нет, ее, похоже, даже больше. Снег сошел, его не видно ни в придорожных канавах, ни в перелесках. Вдоль дороги — степь, березовые колки, черная пашня, лесополосы, поля с озимыми, на которых уже показались зелены. То тут, то там по степи дымит и взблескивает багровым пламенем травопал. Начальник экспедиции — спец по двукрылым — горько бранится: из года в год от этого лиха горят в округе леса. Над сухой прошлогодней травой,

невысоко, то зависая, то ныряя к земле, пасетмышь белобрюхий лунь. Березы здесь тоже другие. Как будто светлее. Они еще голые, еще не подернуты желтовато-зеленой дымкой, и белы у них не только стволы, но и ветки. У наших не так, у наших ветки темны. И растут тут березы пучком — несколько деревьев из одного гнезда. Их сияющие стволы гнуты, раскорячены степным ветром. Местные говорят: танцующий лес.

До Карасука добрались к полудню. А через двадцать минут уже въезжали на территорию биологической базы академического института, официально — научный стационар.

Народ квелый, не выспавшийся — за долгие часы пути рассказаны все дорожные истории и анекдоты, нет сил ни говорить, ни слушать. А между тем стационар затейный. За жилыми домиками, вдоль заросшего тростником берега озера — ряды просторных птичьих вольеров, оборудованных чем-то вроде избушек на курьих ножках, сухими стволами и березовыми вениками с прошлогодним листом. Тут отработывают технологии разведения в неволе редких птиц. В основном — тетеревиных. Но есть и длинноногая дрофа, и беркуты, которые несутся здесь как клуши, и вымирующие утки савки, плодящиеся как песок морской в утиных палестинах. А пора-то самая дивная — ток. Гормоны кипят в алой птичьей крови. Дикуши, глухари, воротничковые рябчики, обыкновенный и кавказский тетерева... Все пляшут, распускают хвосты, топорщат перья на шее, метут крыльями землю, выписывают перед самками круги, бесстрашно шипят на незваных гостей. Не питомник — сказки русского леса.

На следующее утро, чуть забрезжил рассвет, ученая братия, помятая после бурного ужина с водкой, наскоро позавтракав, собралась в путь — начальник экспедиции хотел в один дневной прогон домчать до Балхаша. Затея не очень реальная, если взять в расчет резвость выдавшей виды «газели». Да и казахская дорожная полиция, по свидетельству бывалой шоферни, лютует на асфальте, как весенний пастбищный клещ, — такой вопьется, отдирать надо, будто вывинчиваешь саморез, с проворотом.

Я тоже был хмур, хотя за ужином выпил не так и много. Причина в другом — ночью мне снилась Марина. Проснулся, вспомнил — и как будто умер. Я обидел ее и не подлежу прощению — все страсти преисподней к моим услугам.

Таможенный досмотр и паспортный контроль прошли быстро, в гору экспедиционного багажа никто даже не сунулся: все-таки Академия наук — не жук чихнул. За поднявшимся шлагбаумом — Казахстан. Плоский, непаханный, безлюдный. Только тянутся вдоль трассы столбы бесконечных ЛЭП, только летит через дорогу призрачное перекасти-поле, только мелькнет раз в полчаса ватажка местных буренок, маленьких и лохматых. Не земля — сковорода. Но все-таки не та, что ждет в аду, где черти будут жарить меня десять тысяч лет, превращая мою бессмертную душу в шкварку.

Глины — целый рюкзак. Прежде меня никогда не тянуло лепить, даже в детстве предпочитал пластилину воздушного змея, не говоря уже о городках и казаках-разбойниках, а теперь — словно слышу зов. Зов глины. В нем — изнемогающая тоска, неутолимая жажда воплощения, будто стонет голодный дух, веками вечными мечущийся в поисках тела, но всякий раз — облом. А отказаться от мучительных метаний — никак. Такова природа духа и его голода.

Глина, каменный прах, тлен великих гор... Белая, ржаво-красная, зеленовато-серая — набрал разной. Когда я развожу ее в миске водой, я думаю о мертвых. Когда леплю нелепые тела, раскатываю колбаски рук и ног, я думаю о мертвых. Царапая зубочисткой шарик головы, прорезывая рот, глаза, формуя нос, я думаю о мертвых. Или... Или это мертвые сами?... Сами думают о себе внутри моей головы? Думают о себе — мной?

Позавчера, отправившись расставлять очередные слепленные фигурки — плод неосознанной тоски, — на Ковенском я увидел Кашнецова. Мы учились в одном классе. Однажды на уроке химии он выпил из спиртовки подкрашенный голубой гадостью спирт. Прославился на всю учительскую. Миша Кашнецов. В школе, разумеется, его звали Маша-Каша. Потом он закончил медицинский, пошел в психиатрию и даже успел защитить кандидатскую. Как сказал Захар, в то время, когда был живым: «После защиты диссертации человек получает право говорить глупости». Маша-Каша говорил глупости и до защиты, и после. А в девяносто четвертом, когда вся страна уже слетела с петель, его убил вилкой пациент. Убил с одного удара. Известно ведь, что зачастую дилетант делает дело ловчее всякого профессионала — такова великая сила случая. И вот, как ни в чем не бывало, Кашнецов идет мне навстречу по Ковенскому. За двадцать лет, проведенных в могиле, он ничуть не изменился. Впрочем, для меня теперь и молодое стало старым. Я остолбенел. Озноб прошиб мою кожу. Пот, как грунтовые воды, поднялся и залил корни волос. А он прошел мимо, мазнув тусклым взглядом, — не узнал. Даже не заметил. И вновь меня покрыла изморозь и захрустели сочленения.

Смертельное манит — заметил полузабытый автор без малого сто лет назад. Я шел за Машей-Кашей следом до Мальцевского рынка. Шел и чувствовал, как на меня тяжелым покрывалом наваливается сон. Неуместный теперь, когда меня, как мотылька булавкой, насквозь пронзил загробный холод. Или, напротив, так и есть — булавка, а за ней смертельное кино? Нет, все-таки не так. Сначала летучая жизнь тает в эфирном сне, и лишь потом... Я боролся, одолевал сонливость, я хотел *увидеть*. Так увидеть, чтобы, наконец, поверить глазам. Но и равнодушная сонливость одолевала меня. Какое-то время мы пребывали в зыбком равновесии.